

◆ ВСЕМИРНАЯ  
ЛИТЕРАТУРА ◆



АЛЕКСЕЙ  
ТОЛСТОЙ



Хождение по мукам



МОСКВА  
2023

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Т52

Оформление серии *Ярусовой Натальи*

В коллаже на обложке использованы репродукции работ художников *Джозефа Кристиана Лейендекера* и *Мстислава Добужинского*

**Толстой, Алексей Николаевич.**

Т52 Хождение по мукам / Алексей Толстой. — Москва : Эксмо, 2023. — 832 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-161388-4

Знаменитая трилогия Алексея Толстого «Хождение по мукам» — увлекательное повествование о судьбах двух сестер, Кати и Даши Булавиных, на фоне масштабных исторических событий: во времена Первой мировой войны, двух революций, Гражданской войны. По словам самого автора, «Хождение по мукам» — хождение совести самого автора по страданиям, надеждам, восторгам и падениям, унынию, взлетам — ощущение целой огромной эпохи».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-161388-4

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023



# Книга I

## СЕСТРЫ



О, Русская земля!..  
«Слово о полку Игореве»

### I

Сторонний наблюдатель из какого-нибудь заросшего липами московского переулка, попадая в Петербург, испытывал в минуты внимания сложное чувство умственного возбуждения и душевной придавленности.

Бродя по прямым и туманным улицам, мимо мрачных, как ящики, домов, с темными окнами, с дремлющими дворниками у ворот, глядя подолгу на многоводный и хмурый простор Невы, на голубоватые линии мостов, с зажженными еще до темноты фонарями, с колоннадами неуютных и нерадостных дворцов, с нерусской, пронзительной высотой Петропавловского собора, с бедными лодочками, ныряющими в темной воде, и бесчисленными барками сырых дров вдоль гранитных набережных, заглядывая в лица прохожих — озабоченные и бледные, с глазами, как городская муть, — видя и внимая всему этому, сторонний наблюдатель — благонамеренный — прятал голову поглубже в воротник, а неблагонамеренный — начинал думать, что хорошо бы ударить со всей силой, разбить вдребезги это застывшее, унылое очарование.

Еще во времена Петра Первого дьячок из Троицкой церкви, что и сейчас стоит близ Троицкого моста, спускаясь с колокольни, впотьмах, увидел кикимору — худую бабу и простоволосую, — сильно испугался и затем говаривал в кабаке: «Петербург, мол, быть пусту», — за что был схвачен, пытан в Тайной канцелярии и бит кнутом нещадно.

Так с тех пор, должно быть, и повелось думать, что с Петербургом — нечисто. То видели очевидцы, как по улице Васильевского острова ехал на извозчике черт. То в полночь, в бурю и высокую воду, сорвался с гранитной скалы и скакал по камням Медный Император. То к проезжему в карете тайному советнику липнул

к стеклу, приставал мертвец — мертвый чиновник. Много таких рассказней ходило по городу.

И, совсем еще недавно, поэт Алексей Алексеевич Бессонов, проезжая ночью на лихаче, по дороге на острова, горбатый мостик, увидел сквозь разорванные облака в бездне неба звезду и, глядя на нее сквозь слезы, подумал, что лихач, и горбатый мостик, и нити фонарей, и весь за спиной его спящий Петербург — лишь мечта, бред, возникший в его голове, отуманенной вином, любовью и скукой.

Точно в бреде, наспех, построен был Петербург. Как сон, прошли два столетия: чужой всему живому город, стоящий на краю земли, в болотах и пусторосях, грезил всемирной силой и властью; бредовыми виденьями мелькали дворцовые перевороты, убийства Императоров, триумфы и кровавые казни; слабые женщины принимали полубожественную власть; из горячих и смятых постелей решались судьбы народов; приходили ражие парни с могучим сложением и черными от земли руками и смело поднимались к трону, чтобы разделить власть, ложе и византийскую роскошь.

С ужасом оглядывались соседи на эти бешеные взрывы фантазии. С унынием и страхом внимали русские люди бреду столицы. Страна питала и никогда не могла досыта напитать кровью своею и духом петербургские призраки.

Петербург жил бурливо-холодной, пресыщенной, полуночной жизнью. Фосфорические летние ночи, сумасшедшие и сладострастные, и бессонные ночи зимой, зеленые столы и шорох золота, музыка, крутящиеся пары за окнами, бешеные тройки, цыганы, дуэли, и на рассвете — в свисте ледяного ветра и пронзительном завывании флейт — парад войскам перед наводящим ужас взглядом выпуклых глаз Императора. — Так жил город.

В последнее десятилетие с невероятной быстротой создавались грандиозные предприятия. Возникали, как из воздуха, миллионные состояния. Из хрусталя и цемента строились банки, мюзик-холлы, скетинги, великолепные кабаки, где люди оглушались музыкой, отражением зеркал, полуобнаженными женщинами, светом, шампанским. Спешно открывались игорные клубы, дома свиданий, театры, синаматографы, лунные парки с американскими удовольствиями. Инженеры и капиталисты работали над проектом постройки новой, невиданной еще роскоши, столицы, неподалеку от Петербурга, на необитаемом острове.

В городе была эпидемия самоубийств. Залы суда наполнялись толпами истерических женщин, жадно внимающих кровавым и возбуждающим процессам. Все было доступно — роскошь и

женщины. Разврат проникал повсюду, им был, как заразой, поражен дворец.

И во дворец, до самого трона несчастнейшего из Императоров, дошел и, глумясь и издеваясь, сам стал шельмовать над Россией неграмотный мужик, с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой.

Петербург, как всякий город, жил единой жизнью, напряженной и озабоченной. Центральная сила руководила этим движением. Но она не была слита с тем, что можно было назвать духом города: центральная сила стремилась создать порядок, спокойствие и целесообразность, дух города стремился разрушить эту силу. Дух разрушения был во всем, пропитывал гнилостным ядом и грандиозные биржевые махинации знаменитого Сашки Сакельмана, и мрачную злобу рабочего на сталелитейном заводе, и вывихнутые мечты модной поэтессы, сидящей в пятом часу утра в артистическом подвале «Красные бубенцы», — и даже те, кому нужно было бороться с этим разрушением, сами того не понимая, делали всё, чтобы усилить его и обострить.

То было время, когда любовь, чувства хорошие и здоровые, считались пошлостью и пережитком; никто не любил, но все жаждали и, как отравленные, припадали ко всему острому, раздирающему внутренности.

Девушки скрывали свою невинность, супруги — верность. Разрушение считалось хорошим вкусом, неврастения — признаком утонченности. Этому учили модные писатели, возникавшие за один сезон из небытия. Люди выдумывали на себя пороки и извращения, лишь бы не прослыть пресными.

Вдыхать запах могилы и чувствовать, как рядом вздрагивает, разгоряченное дьявольским любопытством, тело женщины, — вот в чем был пафос поэзии этих последних лет: смерть и сладострастие.

Таков был Петербург в 1914 году. Замученный бессонными ночами, оглушающий тоску свою вином, золотом, безлюбой любовью, надрывающими и бессильно-чувственными звуками танго, — предсмертного гимна, — он жил словно в ожидании рокового и страшного дня. И тому были предвозвестники, — новое и непонятное лезло изо всех щелей.

## II

«...Мы ничего не хотим помнить. Мы говорим — довольно, повернитесь к прошлому задом! Кто там у меня за спиной? Венера Милосская? А что — ее можно кушать? Или она способствует рощению волос? Я не понимаю, для чего мне нужна

эта каменная туша. Но искусство, искусство, брр! Вам все еще нравится шекотать себе пятки этим понятием? Глядите по сторонам, вперед, под ноги. У вас на ногах американские башмаки? Да здравствуют американские башмаки! Вот искусство: красный автомобиль, гуттаперчевая шина, пуд бензину и сто двадцать верст в час. Это возбуждает меня пожирать пространство. Вот искусство: афиша в шестнадцать аршин и на ней некий шикар- ный молодой человек в сияющем, как солнце, цилиндре. Это портной, художник, гений сегодняшнего дня! Я хочу пожирать жизнь, а вы меня потчуете сахарной водичей для страдающих половым бессилием...»

В конце узкого зала, за стульями, где тесно стояла молодежь с курсов и университета, раздался смех и хлопки. Говоривший, Петр Петрович Сапожков, усмехаясь влажным ртом, надвинул на большой нос прыгающее пенсне и бойко сошел по ступеням большой дубовой кафедры.

Сбоку ее, за длинным столом, освещенным двумя пятисвеч- ными канделябрами, сидели члены общества «Философские вечера». Здесь были и председатель общества, профессор бо- гословия Антоновский, и сегодняшний докладчик — историк Вельяминов, и философ Борский, и лукавый писатель Саку- нин.

Общество «Философские вечера» в эту зиму выдерживало сильный натиск со стороны мало кому известных, но зубастых молодых людей. Они напали на маститых писателей и по- чтенных философов с такой яростью и говорили такие дерзкие и соблазнительные вещи, что старый особняк на Фонтанке, где помещалось общество, по субботам, в дни открытых заседаний, бывал переполнен.

Так было и сегодня. Когда Сапожков при рассыпавшихся хлопках исчез в толпе, на кафедру поднялся небольшого роста человек с шишковатым, стриженным черепом, с молодым, скула- стым и желтым лицом, — Акундин. Появился он здесь недавно, успех, в особенности в задних рядах зрительного зала, бывал у него огромный, и, когда спрашивали — откуда и кто такой? — знающие люди загадочно улыбались. Во всяком случае, фамилия была ему не Акундин, приехал он из заграницы и выступал не- спроста.

Пощипывая редкую бородку, Акундин оглядел затихшее залo, усмехнулся тонкой полосой губ и начал говорить.

В это время, в третьем ряду кресел, у среднего прохода, подпе- рев кулачком подбородок, сидела молодая девушка в суконном черном платье, закрытом до шеи. Ее пепельные, тонкие волосы были подняты над ушами, завернуты в большой узел и сколоты гребнем. Не шевелясь и не улыбаясь, она разглядывала сидящих

за зеленым столом, иногда ее глаза подолгу останавливались на огоньках свечей.

Когда Акундин, стукнув сухоньким кулачком по дубовой кафедре, воскликнул: «Мировая экономика наносит первый удар железного кулака по церковному куполу», — девушка вздохнула не сильно и, приняв кулачок от покрасневшего снизу подбородка, положила в рот карамель.

Акундин говорил:

«...А вы все еще грезите туманными снами о царствии Божиим на земле. Здесь еще похрапывают и глядят сны, бормочут сквозь сон о мессианстве. А он, несмотря на все усилия, продолжает спать. Или вы надеетесь, что он все-таки проснется и заговорит, как валаамова ослица? Да, он проснется, но разбудят его не сладкие голоса ваших поэтов, не дым из камильниц, — народ могут разбудить только фабричные свистки. Он проснется и заговорит, но не о мессианстве, а о справедливости, и голос его будет неприятен для слуха. Или вы надеетесь на ваши дебри и болота? Здесь можно подремать еще с полстолетия, верно. Но не называйте это мессианством. Это не то, что грядет, а то, что уходит, как тень по земле. Здесь в Петербурге, в этом великолепном зале выдумали русского мужика. Написали о нем сотни томов и сочинили оперы. Игра в тени на стене. Боюсь только, как бы эта забава не окончилась большою кровью...»

Но здесь председатель остановил говорившего. Акундин слабо улыбнулся, вытащил из пиджака большой грязный платок и вытер привычным движением череп и лицо. В конце зала раздалась голоса:

- Пускай говорит!
- Безобразие закрывать человеку рот!
- Это издевательство!
- Тише вы, там сзади!
- Сами вы тише!

Акундин продолжал:

«...Русский мужик — точка приложения идей. Да. Но если эти идеи органически не связаны с его инстинктами, с его вековыми желаниями, с его первобытным понятием о справедливости, понятием всечеловеческим, то идеи падают, как семена на камень. И до тех пор, покауда не станут рассматривать русского мужика просто как человека с голодным желудком и натертым работою хребтом, покауда не лишат его, наконец, когда-то каким-то баринном придуманных мессианских его особенностей, до тех пор будут трагически существовать два полюса, — ваши великолепные идеи, рожденные в темноте кабинетов; и жадная, полужверинная жизнь. Мы критикуем вас не по существу. Было бы странно терять время на пересмотр этой феноменальной груды — челове-

ческой фантазии. Нет. Мы говорим — идите и претворяйте идеи в жизнь. Не ждите и не философствуйте. Делайте опыт. Пусть он будет отчаянным. И тогда вы увидите, с какими идеями и как вам нужно идти...»

Девушка в черном суконном платье не была расположена вдумываться в то, что говорилось с дубовой кафедры. Ей казалось, что все эти слова и споры, конечно, очень важны и многозначительны, но самое важное, в конце концов, у этих людей в том, что, например, Акундин, — она в этом уверена, — никого на свете, кроме себя, не любит, и если ему нужно для доказательства своей идеи, то и пристрелит человека.

Когда она так думала, за зеленым столом появился новый человек. Он не спеша сел рядом с председателем, кивнул направо и налево, провел покрасневшей рукой по русым волосам, мокрым от снега, пальцы вытер о платок и, спрятав под стол руки, выпрямился, в очень узком, черном сюртуке: худое, матовое лицо, брови дугами, под ними, в тених, огромные серые глаза, и волосы, падающие шапкой. Точно таким Алексей Алексеевич Бессонов был изображен в последнем номере еженедельного журнала.

Девушка не видела теперь ничего, кроме этого почти отталкивающе-красивого лица. Она словно с ужасом внимала этим странным чертам, так часто сновившимся ей в ветреные петербургские ночи.

Вот он, наклонившись ухом к соседу, усмехнулся, и улыбка простоватая, но в вырезах тонких ноздрей, в слишком женственных бровях, в какой-то особой нежной силе этого лица было вероломство, надменность и еще то, чего она понять не могла, но что волновало ее всего сильнее.

В это время докладчик Вельяминов, красный и бородатый, в золотых очках и с пучками золотисто-седых волос вокруг большого черепа, отвечал Акундину:

«...Вы правы так же, как права лавина, когда обрушивается с гор. Мы давно ждем пришествия страшного века, предугадываем торжество вашей правды. Вы овладеете стихией, а не мы. Но мы не подопрем плечами вашу лавину. Мы знаем — когда она докатится до дна, до земли, — сила ее иссякнет, и высшая справедливость, на завоевание которой вы скликаете фабричными гудками, окажется грудой обломков, хаосом, где будет бродить оглушенный человек. “Жажду” — вот что скажет он, потому что в нем самом не окажется ни капли влаги. И вы не дадите ему пить. Берегитесь, — Вельяминов поднял длинный, как карандаш, палец и строго через очки посмотрел на ряды слушателей, — в раю, который вам грезится, во имя которого вы хотите превратить живого человека в силлогизм, одетый в шляпу,

пиджак и с винтовкой за плечами, в этом страшном раю грозит новая революция, — быть может, самая страшная из всех революций — революция Духа...»

Акундин холодно проговорил с места:

— Это предусмотрено...

Вельяминов развел над столом руками. Канделябр бросал блики на его лысину. Он стал говорить о грехе, в который отпадает мир, и о будущей страшной расплате. В зале покашливали.

Во время перерыва девушка пошла в буфетную и стояла у дверей, нахмуренная и независимая. Несколько присяжных поверенных с женами пили чай и громче, чем все люди, разговаривали. У печки знаменитый писатель, Чернобылин, ел рыбу с брусничкой и поминутно оглядывался злыми, пьяными глазами на проходящих. Две средних лет литературные дамы, с грязными шеями и большими бантами в волосах, жевали бутерброды у буфетного прилавка. В стороне, не смешиваясь со светскими, благообразно стояли батюшки. Под люстрой, заложив руки сзади под длинный сюртук, покачивался на каблуках полуседой человек с подчеркнута растрепанными волосами — Чирва — критик, ждал, когда к нему кто-нибудь подойдет. Появился Вельяминов; одна из литературных дам бросилась к нему и вцепилась в рукав, который он во время разговора осторожно, но тщетно старался выпростать. Другая литературная дама вдруг перестала жевать, тоже отряхнула крошки, нагнула голову, расширила глаза. К ней подходил Бессонов, кланяясь направо и налево смиренным наклонением головы.

Девушка в черном всей своей кожей почувствовала, как подобралась под корсетом литературная дама, впала в фальшивое состояние. Бессонов говорил ей что-то с ленивой усмешкой. Она всплеснула полными руками и захохотала, подкатывая глаза.

Девушка дернула плечиком и пошла из буфета. Ее окликнули. Сквозь толпу к ней протискивался черноватый, истощенный юноша, в бархатной куртке, радостно кивал, от удовольствия морщил нос и взял ее за руку. Его ладонь была влажная, и на лбу влажная прядь волос, и влажные, длинные, черные глаза засматривали с мокрой нежностью. Его звали Александр Иванович Жиров. Он сказал:

— Вот? Что вы тут делаете, Дарья Дмитриевна?

— То же, что и вы, — ответила она, освобождая руку, сунула ее в муфту и там вытерла о платок.

Он захихикал и, глядя еще нежнее, сказал:

— Неужели и на этот раз вам не понравился Сапожков? Он говорил сегодня, как пророк. Вас раздражает его резкость и своеобразная манера выражаться. Но самая сущность его мысли, —

разве это не то, чего мы все втайне хотим, но сказать боимся? А он смеет. Вот его последний стишок:

Каждый молод, молод, молод.  
В животе чертовский голод.  
Будем лопать пустоту..

— Необыкновенно, ново и смело. Дарья Дмитриевна, разве вы сами не чувствуете, — новое, новое прет! Наше, новое, жадное, смелое. Вот, тоже и Акундин. Он слишком логичен, но как вбивает гвозди! Еще две, три таких зимы, и все затрещит, полезет по швам, — очень хорошо!

Он говорил тихим голосом, сладко и нежно улыбаясь, Даша чувствовала, как все в нем дрожит мелкой дрожью, точно от ужасного возбуждения. Она не дослушала, кивнула головой и стала протискиваться к вешалке.

Сердитый швейцар с медалями, таская вороха шуб и калош, не обращал внимания на Дашин протянутый номерок. Ждать пришлось долго, в ноги дуло из пустых, с махающими дверями, сеней, где стояли рослые, в синих мокрых кафтанах, мужики-извозчики и весело и нагло предлагались выходящим:

— Вот на резвой, ваше сясь!

— Вот, по пути, на Пески!

Вдруг за Дашинной спиной голос Бессонова проговорил раздельно и холодно:

— Швейцар, шубу, шапку и трость.

Даша почувствовала, как легонькие иголки пошли по спине. Она быстро повернула голову и прямо взглянула Бессонову в глаза. Он встретил ее взгляд спокойно, как должное, но затем веки его дрогнули, в серых глазах появилась живая влага, они словно подались, и Даша почувствовала, как у нее затрепетало сердце.

— Если не ошибаюсь, — проговорил он, наклоняясь к ней, — мы встречались у вашей сестры?

Даша сейчас же ответила дерзко:

— Да. Встречались.

Выдернула у швейцара шубу и побежала к парадным дверям. На улице мокрый и студеный ветер подхватил ее платье, обдал ржавыми каплями. Даша до глаз закуталась в меховой воротник. Кто-то, перегоняя, проговорил над ухом:

— Ай да глазки!

Даша быстро шла по мокрому асфальту, по лиловым, зыбким полосам электрического света. Из распахнувшейся двери ресторана вырвались вопли скрипок, — вальс. И Даша, не оглядываясь, пропела в косматый мех муфты:

— Ну, не так-то легко, не легко, не легко!

### III

Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной:

— Дома никого нет, конечно?

Великий Могол, — так называли горничную Лушу за широко-скулое, как у идола, всегда сильно напудренное лицо, — глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барыни, действительно, дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса.

Даша прошла в гостиную, села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено.

Зять, Николай Иванович, дома, — значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас — одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что? И охоты нет. Просто сидеть, думать, — себе дороже станет. Вот, в самом деле, как жить иногда неуютно!

Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одною рукою начала разбирать Скрябина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет, да еще девушке, да еще очень и очень неглупой, да еще по нелепой какой-то чистоплотности слишком суровой с теми, — а их было не мало, — кто выражал охоту развеивать девичью скуку.

В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры, Екатерины Дмитриевны Смоковниковой. Муж ее был адвокат, довольно известный; жили они шумно и широко.

Даша была моложе сестры лет на пять; когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж — Даша была еще девочкой; последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения: у Даши влюбленные, у Екатерины Дмитриевны — нежно-любовные.

Первое время Даша подражала сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми. Знакомых сестры она робела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дом ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улицы; она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последний год из-за этого у нее происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопись идейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пылкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.

Даша тоже восхищалась этими странными картинами, развешанными в гостиной, хотя с огорчением думала иногда, что

квадратные фигуры, с геометрическими лицами, с большим, чем нужно, количеством рук и ног, глухие краски, как головная боль, — вся эта фабричная, чугунная, циничная поэзия восставшей против Господа Бога прогорклой улицы слишком высока для ее тупого воображения.

Каждый вторник у Смоковниковых, в столовой из птичьего глаза, собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями; два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику; нервно расстроенный критик Чирва, подготавливавший очередную литературную катастрофу. Иногда, спозаранку, приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей, в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость, шла не спеша приложиться к хозяйке и с достоинством усаживалась в кресле. В середине ужина бывало слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожаные калоши, и бархатный голос произносил:

«Приветствую тебя, Великий Могол!» — и затем над стулом хозяйки склонялось бритое, с отвислыми жабрами, лицо любовника-резонера.

«Катюша, — говорил он каждый раз, — с нынешнего дня дал зарок, не пью, честное слово».

Главным человеком для Даши во время этих ужинов была сестра. Даша негодовала на тех, кто был мало внимателен к милой, доброй и простодушной Екатерине Дмитриевне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, — глядела на виновного злыми глазами.

Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала: у них, кроме мохнатых визиток, лиловых галстуков да проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника-резонера она ненавидела: он не имел права сестру звать Катей, Великого Могола — Великим Моголом, не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать: «Пью за цветущий миндаль!»

Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости.

Щеки у ней, действительно, были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать было нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки.

На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморье, в Сестроречке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще, катались на лодках, купались, ели мороженое в сосновом

бору, слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала, под звездами.

Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью, платье, большую шляпу из розового газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бантом на спине, и в Дашу, неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя — Куличек.

Но он был из «презираемых». Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдание ни одного слова (он только вытирался платком, скомканным в кулаке), наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то «самку», что она оскорблена и возмущена, считает его личностью с развращенным воображением и сегодня же пожалуется зятю.

Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца, поглаживая холеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодования Дашины щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашину фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать; вынул платок, вытирал глаза, приговаривал:

— Уйди, Дарья, уйди, умру!

Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличек теперь не смел даже глядеть на нее, худел и уединялся. Дашина честь была спасена. Но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле, от волос до пяток, зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала его всей своей кожей и мучилась, как от нечистоты; ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой.

Теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилового, как зеркало, моря шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки.

Но, пригревшись на солнышке, или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть с себя, как кровь с заколдованного ключа Синея Бороды.

Все знакомые, а первая сестра, стали находить, что Даша очень похорошела за это лето и словно хорошеет с каждым днем. Однажды Екатерина Дмитриевна, зайдя утром к сестре, сказала:

— Что же это с нами дальше-то будет?

— А что, Катя?

Даша в рубашке сидела на постели, закручивая большим узлом волосы.

— Уж очень хорошеешь, — что дальше-то будем делать? Даша строгими, «мохнатыми», глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем:

— Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила, мне это неприятно, понимаешь?

Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась, целуя между лопатками:

— Какие мы рогатые уродились, ни в ерша, ни в ежа, ни в дикую кошку.

Однажды на теннисной площадке появился англичанин, — худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей из свиты Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл, как машина. Даше казалось, что он за все время ни разу на нее не взглянул, — глядел мимо. Она проиграла и предложила вторую партию. Чтобы было ловчее, — засучила рукава белой блузки. Из-под пикейной ее шапочки выбилась прядь волос, она ее не поправляла. Отбивая сильным дрейфом над самую сеткою мяч, думала: «Вот — ловкая русская девушка, с неуловимой грацией во всех движениях, и румянец ей к лицу».

Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, надел канотье, — был он совсем сухой, — закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонаду.

Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз косилась в сторону англичанина, — он сидел за столиком, охватив у щиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено, сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море.

Ночью, лежа в постели, Даша все это припомнила, ясно увидела себя, прыгающую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, и расплакалась от стыда, от самолюбия и еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой.

С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатерина Дмитриевна ей сказала:

— Даша, мистер Беильс о тебе справляется каждый день, — почему ты не играешь?

Даша раскрыла рот — до того вдруг испугалась. Затем с гневом сказала, что не желает слушать «глупых сплетен», что никакого мистера Беильса не знает и знать не хочет, и он, вообще, ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в «этот дурацкий теннис». Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крижовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячею смолою

сосновом бору, бродя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину: влюблена в англичанина, несчастна, и нет охоты жить.

Так, понемногу, поднимал голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно, как нечистота, болезненно, как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды затягиваться зимою в корсет и суконное платье.

Две недели продолжалась ее самолюбивая, «рогатая» влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя и негодовала на этого человека. Несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете.

А потом появилась около него высокая, худая девушка, одетая в белую фланель, — англичанка, его невеста, — и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидела себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни.

На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло. Но прошло не все: Даша чувствовала теперь, как тот — второй человек — точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая — и легкая и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза, замечательные глаза, посмотришь в них — голова закружится.

В середине августа Смоковниковы вместе с Дашей переехали в Петербург, в свою большую квартиру на Знаменской. Снова начались вторники, выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечение стариной, поездки на всю ночь в Самарканд к цыганам. Опять появился любовник-резонер, скинувший на минеральных водах двадцать три фунта весу, и ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена.

Даше некогда было теперь ни думать, ни чувствовать помногу: утром лекции, в четыре — прогулка с сестрой и магазины, вечером — театры, концерты, ужины, люди, — ни минуты побыть в тишине.

В один из вторников, после ужина, когда пили ликеры, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерина Дмитриевна залилась яркой краской. Общий

разговор прервался. Бессонов сел на диван и принял из рук Екатерины Дмитриевны чашку с кофе.

К нему подсели знатоки литературы — два присяжных повенных, но он, глядя на хозяйку длинным, странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства, вообще, никакого нет, а есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке.

«Никакой поэзии нет. Все давным-давно умерло — и люди, и искусство. А Россия — падаль, и стаи воронов на ней, на вороньем пиру. А те, кто пишет стихи, все будут в аду».

Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его розовели два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашечки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер.

Знатоки литературы затеяли было спор, но Бессонов не слушал их, следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной. Затем поднялся, подошел к ней, и Даша слышала, как он сказал:

— Я плохо переносу общество людей. Позвольте мне уйти.

Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке Екатерины Дмитриевны, что у нее порозовела спина.

После его ухода начался спор. Мужчины единодушно высказались: «Все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество». Критик Чирва подходил ко всем и повторял: «Господа, он был пьян, в лоск». Дамы же решили: «Пьян ли был Бессонов, или просто в своеобразном настроении, — все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно».

На следующий день, за обедом, Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех «подлинных» людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерины Дмитриевны. «Вот, Катя, я понимаю, как от такого человека можно голову потерять».

Николай Иванович возмутился: «Просто тебе, Даша, ударило в нос, что он знаменитость». Екатерина Дмитриевна промолчала. У Смоковниковых Бессонов больше не появлялся. Прошел слух, что он пропадает за кулисами у актрисы Чародеевой. Куличек с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы: худа, как мощи, — одни кружевные юбки.

Однажды Даша встретила Бессонова на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из паноптикума, стояли две коренастые курсистки и глядели на него с застывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул, — неожиданно устали ноги и было, непонятно почему, грустно.

После этого Даша купила карточку Бессонова и поставила на стол. Его стихи — три белых томика — вначале произвели на нее впечатление отравы: несколько дней она ходила сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашептывали — забытья, обессилеть, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает.

Из-за Бессонова она начала бывать на «Философских вечерах». Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой переволнованная и была рада, когда дома — гости. Самолюбие ее молчало.

Сегодня пришлось в одиночестве разбирать Скрыбина. Звуки, как ледяные шарики, медленно падают в грудь, в глубь темного озера, без дна. Упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там, в горячей темноте, гулко, тревожно ударяет сердце, точно скоро, скоро, сейчас, в это мгновение должно произойти что-то невозможное.

Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен на нее багровые, вспухшие, оскаленные, с выпученными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения сад Господа Бога.

— Да, милостивая государыня, плохо наше дело, — сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки, стоявшей на предиванном столе, вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице.

— Николай Иванович, который час? — крикнула Даша так, чтобы было слышно через четыре комнаты. В кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась Великий Могол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан.

В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ошипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротника. Волосы его были растрепаны, на бороде, отогнутой влево, висела пушинка с диванной подушки.

Николай Иванович хмуро кивнул Даше, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть.

Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным:

— Вчера ночью твоя сестра мне изменила.

## IV

Родная сестра, Катя, сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И, ко всему, Кати не было дома, точно ее на свете больше и не существует.

В первую минуту Даша обмерла, и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставочку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смела.

Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. «Застрелится», — подумала Даша. Но и этого не случилось. С острой и мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него была волосатая, большая и теперь «беспомощная» рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения, и Даша только повторяла: «Что же делать? Что делать?» В голове звенело, все, все, все было изуродовано и разбито.

Из-за суконной занавеси появилась Великий Могол с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла, что теперь никакого больше Великого Могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную.

Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешено Катиними руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало диким и нежилым. Даша села на диван. Понемногу ее взгляд остановился на недавно купленной картине, в простенке над роялем. И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено.

Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно с содранной кожей. Рот — сбоку, носа не было совсем, вместо него — треугольная дырка, голова — квадратная и к ней приклеена тряпка — настоящая материя. Ноги, как поленья, на шарнирах. В руке — цветок. Остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой, — глухой и коричневый, такие углы, должно быть, — в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее современной Венерой.

«Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же — с цветком, в углу». Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович. Расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, пустил облако ды-